

КРОПОТКИН



ЗАПИСКИ
РЕВОЛЮЦИОНЕРА
Полная версия



вся история
в одном томе



Пётр Алексеевич Кропоткин
Записки революционера.
Полная версия
Серия «**Вся история в одном томе**»

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=68826516

*Записки революционера. Полная версия / П.А. Кропоткин: АСТ; Москва;
2023*

ISBN 978-5-17-153421-9

Аннотация

Князь Петр Алексеевич Кропоткин (1842–1921) – известный ученый, мыслитель и деятель русского и европейского революционного движения. Его мемуары переведены на все основные языки и многократно издавались во всем мире.

В «Записках революционера», которые охватывают период с 1840 по 1890 гг., Кропоткин описывает важнейшие социальные и политические перемены в России и Европе, соединяя их с повествованием о своей полной ярких событий жизни.

Кропоткин искренне желал бескровных преобразований на благо человека как в России, так и во всем мире и являлся ярчайшим представителем прогрессора европейского образца конца XIX века.

В формате a4.pdf сохранен издательский макет книги.

Содержание

Предисловие автора к первому русскому изданию	5
Часть первая	10
I. Старая Конюшенная	10
II. Смерть матери	17
III. Род Кропоткиных. Отец. Мать	19
IV. Мадам Бурман. Ульяна. Пулэн. Изучение французского языка и древней истории.	29
Воскресные развлечения. Страсть к театру	
V. Бал в честь Николая I. Назначение в пажи	41
VI. Нравы старого барства. Крепостные слуги.	47
Типы Старой Конюшенной	
VII. Наказы бурмистрам. Доставка живности.	57
Переезд в Никольское. Долгие сборы.	
Пулэн объясняет подвиги наполеоновской армии. Военные упражнения. Пробуждение демократического духа. Наши соседи	
Конец ознакомительного фрагмента.	81

**Петр Алексеевич
Кропоткин
Записки революционера.
Полная версия**

© ООО «Издательство АСТ», 2023

На обложке – иллюстрация из журнала «The Graphic» (23
апреля 1881 г.)

* * *

Предисловие автора к первому русскому изданию

Многое из того, что рассказано в этой книге, не ново для русского читателя, а многое из того, что особенно могло бы заинтересовать русского, изложено, может быть, слишком кратко. Но последние годы вымирания крепостного права, никогда не казавшегося таким прочным, как в те годы, затем эпоха возрождения России в шестидесятых годах и, наконец, последовавшие затем «семидесятые годы», годы пробуждения общественной совести среди молодежи по отношению к забитому и обманутому русскому народу, эти три десятилетия так знаменательны в русской жизни и так сильно наложили свой отпечаток на дальнейшую историю нашей родины, что иногда и мелкая подробность личной жизни или общественного настроения имеет свое значение. В некоторых случаях она лучше освещает эпоху, чем целые страницы рассуждений.

Притом же Россия живет быстро за последние полстолетия. Крепостное право и крепостные нравы, с тех пор как пронеслись над нами шестидесятые годы и прошла полоса очистительная, беспощадная критика нигилизма, как будто отошли куда-то очень далеко, в бледную, туманную перспективу времен. Даже великое движение в народ забыто и пред-

ставляется современной молодежи каким-то сказочным героическим периодом, который можно толковать так же своевольно, как и дела давно минувших лет, относясь к нему то с чуть не религиозным уважением, то с высокомерным презрением «охранителей порядка».

Между тем, как ни далеко отошло от нас в исторической перспективе крепостное право и его обычаи, как ни кажутся нам забыты крепостнически-государственные идеалы, вызвавшие кровавое усмирение восставшей Польши, наследие тех и других еще живо среди нас. Оно не умерло ни в актах правительства, ни даже в складе мысли передовых людей, до сих пор несущей на себе следы тисков крепостного государства. Задачи, поставленные России освобождением крестьян, но брошенные неразрешенными надвинувшеюся реакцией, стоят и поныне непочатые перед русской жизнью; а идеалы николаевщины по сию пору еще стремятся сызнова водвориться в России.

Громадный шаг, сделанный в начале шестидесятых годов уничтожением личного рабства крестьян и физического истязания «непривилегированных» на лобном месте, — этот шаг, которого все значение могут оценить только люди нашего поколения, забывается понемногу. Крепостной строй, разбитый в 1861 году, вернулся снова в русскую жизнь под покровом новых мундиров, но с теми же приемами, целями и задачами порабощения массы в пользу привилегированных и правящих. Идеал жандармского сосредоточенного

сильного государства, который в 1863 году сплотил вокруг престола, против Польши, даже недовольные элементы русского общества, – идеал централистов – опять ожил среди нас. Опять он увлекает тех, кто считает себя призванным руководить судьбами России, опять стоит он на пути развития местной жизни и местной самостоятельности. И, наконец, рабство мысли и раболепие – в науке перед авторитетом, а в жизни перед мундиром, которое так возмущало лучших людей в конце пятидесятих годов и вызвало резкий протест Базарова, – вновь оживают среди нас.

И теперь, как и тогда, несмотря на несомненное пробуждение самосознания среди крестьян и городских рабочих, – даже именно вследствие того, что веками угнетенный крестьянин поднимает голову и сам начинает утверждать свои доселе попранные права на волю, – снова является тот же самый вопрос перед всяким думающим молодым человеком из привилегированных классов, который мы себе ставили тридцать лет назад: «Стану ли я пользоваться своим привилегированным положением и, рассматривая дело освобождения крестьян и рабочих как дело их класса, а не моего, – отнесусь ли я равнодушно к их усилиям? Или же, понимая, что прогресс в человечестве не разделен, что он возможен только тогда, когда он охватывает всех, и что нищета и угнетение одних ведут за собой нищету духа и рабство всех, – сочту ли я себя простой частицей большого целого и понесу ли я в среду народа те знания, тот свет, ту веру в свободу и осво-

бождение, которые позволили мне стать свободным и побудили стряхнуть с себя ярмо предрассудков и отказаться от наследия рабского прошлого?»

Если эта книга поможет кому-нибудь разрешить этот вопрос, она достигнет своей цели.

Еще два слова. Почему так случилось, что записки русского преимущественно о русской жизни – пришлось переводить другому с английского языка, – требует нескольких слов объяснения.

Начал я писать эти записки, конечно, по-русски. Первая часть «Детство» – была уже написана, когда я попал, осенью 1897 года, в Америку. В Америке я встретился с очень симпатичным человеком Вальтером Пэджером, который был тогда издателем ежемесячного журнала «Atlantic Monthly»¹. Он уговорил меня засесть за мои мемуары, кончить их и начать печатать их в его журнале. Я так и сделал, то есть описал – опять-таки по-русски, но подробнее, чем здесь, – мою юность. Затем для «Atlantic Monthly» я написал все это вновь, в сокращенной форме, по-английски; а потом, когда началось печатание, я успевал писать по-русски только часть того, что должно было войти в каждую книжку, и переходил к английскому тексту.

Когда зашла речь о напечатании группой русских товарищей за границей русского издания «Записок революционера», то возник вопрос: что печатать русский ли текст, более

¹ «Атлантический ежемесячник».

подробный, особенно по русским делам, чем английский, или перевод с английского? Первое представляло, однако, значительные неудобства, так как за отсутствием полного русского текста пришлось бы заполнять значительные промежутки переводами с английского, что, конечно, нарушило бы цельность книги. А так как за русский перевод предложило мне взяться вполне компетентное лицо, то мы остановились на переводе с английского. Мне остается только душевно поблагодарить переводчика за его прекрасный перевод, сделанный им с такой любовью, что он вполне заменяет оригинал.

П. Кропоткин

Июль 1902

Часть первая

Детство

I. Старая Конюшенная

Москва – город медленного исторического роста. Оттого различные ее части так хорошо сохранили до сих пор черты, наложенные на них ходом истории. Замоскворечье, с его широкими сонными улицами и однообразными, серыми, невысокими домами, ворота которых накрепко заперты и днем, и ночью, осталось поныне излюбленным местом купечества и твердыней суровых, деспотических, преданных форме старообрядцев. Кремль и теперь еще является твердыней государства и церкви. Громадная площадь перед ним, застроенная тысячами лавок и лабазов, с незапамятных времен представляла настоящую торговую толчею и до сих пор является сердцем внутренней торговли обширной империи. На Тверской и Кузнецком мосту издавна сосредоточены главные модные магазины, тогда как заселенные мастеровым людом Плющиха и Дорогомилово сохранили те самые черты, которыми отличалось их буйное население во времена московских царей. Каждая часть составляет сама по себе отдельный мирок, со своей собственной физиономией, и жи-

вет своей особой жизнью. Даже склады и мастерские, тяжело нагруженные вагоны и паровозы железных дорог, когда последние вторглись в древнюю столицу, и те сосредоточились отдельно, в особых центрах, на окраинах старого города.

И из всех московских частей, быть может, ни одна так не типична, как лабиринт чистых, спокойных и извилистых улиц и переулков, раскинувшийся за Кремлем между Арбатом и Пречистенкой, и известный под названием Старой Конюшенной.

Около пятидесяти лет назад тут жило и медленно вымирало старое московское дворянство, имена которого часто упоминаются в русской истории до Петра I. Эти имена исчезли мало-помалу, уступив место именам новых людей «разночинцев», призванных на службу основателем русской империи. Чувствуя, что его оттеснили при петербургском дворе, родовитое дворянство удалилось на покой либо в Старую Конюшенную, либо в свои живописные подмосковные имения. Оттуда оно глядело с некоторым презрением и с тайной завистью на пеструю толпу, занявшую высшие правительственные должности в новой столице на берегах Невы.

В молодые годы большинство из них тоже пыталось счастье на государственной, большей частью военной, службе; но в силу тех или других причин вскоре оставляло ее, не добравшись до высоких чинов. Наиболее счастливые (мой отец был в числе их) получали какую-нибудь покойную почетную службу в родном городе; большинство же просто выходило

в отставку. [Но в какой бы дальний угол России их ни забрасывала служба, родовитые дворяне все как-то ухитрялись доживать старые годы в собственном доме в Старой Конюшенной, вблизи той самой церкви, где их когда-то крестили и где отпевали их родителей. Церквей в этой части Москвы множество; все они со множеством главок, на которых непременно красуется полумесяц, попираемый крестом. Одни из этих церквей раскрашены в красный цвет, другие – в желтый, третьи – в белый или коричневый, и каждого тянуло именно к своей – желтой или зеленой церкви. Старики любили говорить: «Здесь меня крестили, здесь отпевали мою мамушку. Пусть и меня будут здесь отпевать».]

Старые корни пускали новые побеги. Некоторые из них более или менее отличались в различных концах России; иные приобретали более роскошные, в новом стиле, дома в других частях Москвы или в Петербурге; но истинной представительницей рода считалась все та же ветвь, какое бы ни было ее положение в родственном древе, вторая жила возле зеленой, желтой, розовой или коричневой церкви, ставшей дорогой по семейным событиям. К старомодному представителю рода относились с большим уважением, хотя, должен сознаться, не без некоторой примеси легкой иронии, даже те молодые представители рода, которые покинули свой город и сделали блестящую карьеру в гвардии или же при дворе: старик являлся для молодых олицетворением древности рода и его традиций.

В этих тихих улицах, лежащих в стороне от шума и суеты торговой Москвы, все дома были очень похожи друг на друга. Большею частью они были деревянные, с ярко-зелеными железными крышами; у всех фасады с колоннами, все выкрашены по штукатурке в веселые цвета. Почти все дома строились в один этаж, с выходящими на улицу семью или девятью большими светлыми окнами. На улицу также выходила «анфилада» парадных комнат. Зала, большая, пустая и холодная, в два-три окна на улицу и четыре во двор, с рядами стульев по стенкам, с лампами на высоких ножках и канделябрами по углам, с большим роялем у стены; танцы, парадные обеды и место игры в карты были ее назначением.

Затем гостиная тоже в три окна, с неизменным диваном и круглым столом в глубине и большим зеркалом над диваном. По бокам дивана – кресла, козетки, столики, а между окон – столики с узкими зеркалами во всю стену. Все это было сделано из орехового дерева и обито шелковой материей. Всегда вся мебель была покрыта чехлами. Впоследствии даже и в Старой Конюшенной стали появляться разные вычурные «трельяжи», стала допускаться фантазия в убранстве гостиных. Но в годы нашего детства фантазии считались недозволенными, и все гостиные были на один лад. За большую гостиную шла маленькая гостиная с цветным фонарем у потолка, с дамским письменным столом, на котором никто никогда не писал, но на котором зато было расставлено множество всяких фарфоровых безделушек. А за ма-

ленькой гостиной – уборная, угольная комната с громадным трюмо, перед которым дамы одевались, едучи на бал, и которое было видно всяким входившим в гостиную в глубине «анфилады». Во всех домах было то же самое, единственным позволительным исключением допускалось иногда то, что «маленькая гостиная» и уборная комната соединялись вместе в одну комнату. За уборной, под прямым углом, помещалась спальня, а за спальней начинался ряд низеньких комнат; здесь были «девичьи», столовая и кабинет. Второй этаж допускался лишь в мезонине, выходившем на просторный двор, обстроенный многочисленными службами: кухнями, конюшнями, сараями, погребями и людскими. Во двор вели широкие ворота, и на медной доске над калиткой значилось обыкновенно: «Дом поручика или штаб-ротмистра и кавалера такого-то». Редко можно было встретить «генерал-майора» или соответственный гражданский чин. Но если на этих улицах стоял более нарядный дом, обнесенный золоченой решеткой с железными воротами, то на доске, наверное, уже значился «коммерции советник» или «почетный гражданин» такой-то. То был народ непрошенный, втершийся в квартал и поэтому не признаваемый соседями.

Лавки в эти улицы не допускались, за исключением разве мелочной или овощной лавочки, которая ютилась в деревянном домике, принадлежавшем приходской церкви. Зато на углу уже, наверное, стояла полицейская будка, у дверей которой днем показывался сам будочник, с алебардой в руках,

чтобы этим безвредным оружием отдавать честь проходящим офицерам. С наступлением же сумерек он вновь забирался в свою темную будку, где занимался или починкой сапог, или же изготовлением какого-нибудь особенно забористого нюхательного табака, на который предьявлялся большой спрос со стороны пожилых слуг из соседних домов.

Жизнь текла тихо и спокойно, по крайней мере на посторонний взгляд, в этом Сен-Жерменском предместье Москвы. Утром никого нельзя было встретить на улицах. В полдень появлялись дети, отправлявшиеся под надзором гувернеров-французов или нянек-немок на прогулку по занесенным снегом бульварам. Попозже можно было видеть барынь в парных санях с лакеем на запятках, а то в старомодных – громадных и просторных, на высоких, висячих рессорах – каретах, запряженных четверкой, с форейтором впереди и двумя лакеями на запятках. Вечером большинство домов было ярко освещено; а так как ставни не запирались, то прохожие могли любоваться играющими в карты или же танцующими. В те дни «идеи» еще не были в ходу: еще не пришла та пора, когда в каждом из этих домов началась борьба между «отцами и детьми», борьба, которая заканчивалась или семейной драмой, или ночным посещением жандармов. Пятьдесят лет назад никто не думал ни о чем подобном. Все было тихо и спокойно, по крайней мере на поверхности.

В этой Старой Конюшенной родился я в 1842 году; здесь прошли первые пятнадцать лет моей жизни. Отец продал

дом, в котором родился я и где умерла наша мать, и купил другой; потом продал и этот, и мы несколько зим прожили в наемных домах, покуда отец не нашел третий, по своему вкусу, в нескольких шагах от той самой церкви, в которой его крестили и отпевали его мать.

И все это было в Старой Конюшенной. Мы оставляли ее только, чтобы проводить лето в нашей деревне.

II. Смерть матери

Высокая, просторная угловая комната в нашем доме. В ней – белая постель, на которой лежит мать. Наши детские креслица и столики пододвинуты близко к кровати. Красиво накрытые столики уставлены конфетами и хорошенькими стеклянными баночками с желе, и в эту комнату нас, детей, ввели в необычное время – таковы мои первые, смутные воспоминания. Наша мать умирала от чахотки. Ей было всего тридцать пять лет. Прежде чем покинуть нас навсегда, она пожелала видеть нас возле себя, ласкать нас, быть на мгновение счастливой нашими радостями; она придумала это маленькое угощение у своей постели, с которой уже не могла более подняться. Я припоминаю ее бледное, исхудалое лицо, ее большие, темно-карие глаза. Она смотрит на нас и ласково, любовно приглашает нас есть, предлагает забраться на постель, затем вдруг заливается слезами и начинает кашлять. Нас уводят.

Немного времени спустя нас, детей, то есть меня и брата Александра, перевели из большого дома в маленький флигель во дворе. Апрельское солнце заливает своими лучами комнатку, но немка-бонна мадам Бурман и няня Ульяна велют нам ложиться спать. Лица их мокры от слез. Они шьют нам черные рубашечки с широкими белыми оторочками. Нам не спится. Незнание пугает нас; мы прислушиваем-

ся к сдержанному разговору нянек. Они говорят что-то такое о нашей матери, чего мы понять не можем. Мы вскакиваем наконец и спрашиваем: «Где мама? Где мама?» Обе женщины начинают плакать навзрыд, гладят наши кудрявые головки, зовут нас «бедными сиротами». Ульяна не может скрывать больше и говорит: «Ваша мама улетела туда, на небо, к ангелам».

– Как на небо? Почему? – Наше детское воображение напрасно старается ответить на эти вопросы.

Это было в апреле 1846 года. Мне было всего три с половиной года, а брату Саше еще не минуло пяти. Я не знаю, где были тогда старший брат Николай и сестра Елена: по всей вероятности, уже уехали учиться. Николаю шел двенадцатый год, а Лене – одиннадцатый. Они всегда держались вместе, и мы очень мало знали их. Таким образом, мы с Александром остались во флигеле на попечении мадам Бурман и Ульяны. Хорошая старая немка, не имевшая ни своего угла, ни души родных, заменила нам мать. Она воспитала нас как могла: от времени до времени она покупала нам простые игрушки, закармливала коврижками, которыми торговал заходивший иногда старый немец, по всей вероятности такой же одинокий бобыль, как и она сама. Мы редко видели отца. Два следующих года прошли, не оставив никакого впечатления в моей памяти.

III. Род Кропоткиных. Отец. Мать

Отец мой очень гордился своим родом и с необыкновенной торжественностью указывал на пергамент, висевший на стене в кабинете. В пергаменте, украшенном нашим гербом (гербом Смоленского княжества), покрытом горностаевой мантией, увенчанной шапкой Мономаха, свидетельствовало и скреплялось департаментом Герольдии, что род наш ведет начало от внука Ростислава Мстиславича Удалого, и что наши предки были великими князьями Смоленскими.

– Я за этот пергамент заплатил триста рублей, – говорил нам отец.

Как большинство людей его поколения, он не был особенно силен в русской истории и ценил пергамент главным образом по стоимости его, а не по историческим воспоминаниям.

Наш род действительно очень древний, но подобно большинству родов, ведущих свое происхождение от Рюрика, он был оттеснен, когда кончился удельный период и вступили на престол Романовы, начавшие объединять Россию. Но хотя род наш и ведется издалека, однако ничем он не отличился в истории. Встретил я где-то у Соловьева в его «Истории», что некий Иван Кропоткин воеводствовал в Нарве и чуть ли не был бит батогами при Грозном, другой Кропоткин ходил с Тушинским воров, то есть с восставшей гольть-

бой, против московского боярства, за что, должно быть, род Кропоткиных и попал в опалу у Романовых и их бояр, так что при Алексее Михайловиче один из Кропоткиных упоминается только потому, что учинил какое-то «буйство на царском крыльце», где по утрам собирались всякие просители мест. В последнее время никто из Кропоткиных, по видимому, не питал особенной склонности к государственной службе. Мой прадед и дед сперва были военными, но вышли в отставку совсем молодыми и поспешили удалиться в свои родовые поместья. Нужно сказать, впрочем, что одно из этих поместий, Урусово, находящееся в Рязанской губернии и расположенное на холме, среди роскошных полей, прельстило бы хоть кого красотой тенистых лесов, бесконечными лугами и извилистой речкой. Мой дед вышел в отставку поручиком, удалился в Урусово, где занялся хозяйством и стал покупать имения в соседних губерниях.

По всей вероятности, и наше поколение сделало бы то же самое, но наш дед женился на княжне Гагариной, принадлежавшей совсем к другому роду. Ее брат был известен как страстный любитель сцены. Он завел свой собственный театр и, к ужасу всей родни, женился даже на крепостной, на великой артистке Семеновой, родоначальнице реальной драматической школы в России. Без сомнения, и по характеру Семенова была одной из наиболее привлекательных личностей театрального мира. К ужасу «всей Москвы», Семенова и после замужества продолжала появляться на сцене.

Я не знаю, обладала ли моя бабушка теми же артистическими и литературными вкусами, как ее брат. Я помню ее, когда она уже была разбита параличом и могла говорить только шепотом. Не подлежит, однако, сомнению, что следующее поколение нашей семьи проявило склонность к литературе. Брат отца Дмитрий Петрович Кропоткин уже пописывал стихи, и некоторые из его стихотворений даже вошли в смирдинское издание «Сто русских литераторов». Свои стихи дядя издал даже отдельной книжкой – факт, о котором мой отец всегда стыдился даже упомянуть. Мои двоюродные братья, мой брат и я сам в большей или меньшей степени принимали участие в литературе нашего времени.

Отец мой был типичный николаевский офицер. Воспитывался он в школе гвардейских подпрапорщиков, попал затем офицером в Семеновский полк как раз в самый первый год царствования Николая и пошел обычной дорогой гвардейского офицера. Через два года вспыхнула турецкая война, и отец попал на войну со своим крепостным слугой Фролом. Попал он на войну не потому, чтоб он был наделен особенным боевым духом или особенно любил походную жизнь; я сомневаюсь даже, чтоб он провел хотя бы одну ночь у bivачного огня или же участвовал хотя бы в одном сражении, но при Николае это имело второстепенное значение. Настоящим военным в то время был тот, кто обожал мундир и презирал штатское платье, чьи солдаты бывали вымуштрованы так, что могли выделывать почти невероятные штуки нога-

ми и ружьями (одна из знаменитых штук того времени была, например, разломать приклад, беря на караул), кто на параде мог показать такой же правильный и неподвижный ряд солдат, как будто то были не живые, а игрушечные солдатики.

– Очень хорошо, – сказал раз великий князь Михаил, после того как полчаса заставил простоять полк с ружьем на карауле, – только дышат!

Идеалом моего отца, конечно, было возможно больше походить на военного того времени.

Действительно, как я уже сказал, он принимал участие в 1828 году в войне с Турцией, но устроился так, что все время пробыл в штабах. И если мы, дети, воспользовавшись моментом, когда отец был в особенно хорошем расположении духа, просили его рассказать нам про войну, он мог сообщить нам лишь то, как на него и на его верного слугу Фрола в то время, когда они проезжали одну деревню, напали десятки разъяренных собак. Отцу и Фролу пришлось пустить в ход сабли, чтобы отбиться от голодных животных. Без сомнения, нам больше бы хотелось, чтобы то был отряд турок, но мы мирились и с собаками; но когда после долгих приставаний нам удалось заставить отца рассказать, за что он получил Анну с мечами и золотую саблю, тут уж мы были совсем разочарованы. История была до крайности прозаична. Штабные офицеры квартировали в турецкой деревне, когда в ней вспыхнул пожар. В одно мгновение огонь охватил дома, и в одном из них остался ребенок. Мать рыдала в отчая-

нии. Фрол, сопровождавший всегда отца, бросился в огонь и спас ребенка. Главнокомандующий тут же наградил отца крестом за храбрость.

– Но, папаша, – восклицаем мы, – ведь это Фрол спас ребенка!

– Так что ж такое, – отвечал отец наивнейшим образом – Разве он не мой крепостной? Ведь это все равно.

Наш отец принимал участие в войне против поляков во время революции 1831 года. В Варшаве он познакомился с младшей дочерью корпусного командира генерала Сулимы и влюбился в нее. Свадьбу отпраздновали очень торжественно в Лазенковском дворце. Посаженым отцом со стороны невесты был Паскевич.

– Но ваша мать, – прибавлял всегда отец, – не принесла мне никакого приданого. Старый Сулима, ваш дедушка, мне золотые горы насылил по службе, а вместо того скоро сам поехал в Сибирь. Так я и остался ни с чем.

То была чистая правда. Отец матери Николай Семенович Сулима совсем не умел себе сделать карьеру и нажить состояние. Должно быть, в его жилах было слишком много крови запорожцев, которые умели сражаться с отлично вооруженными храбрыми поляками и с втрое более сильными турецкими полчищами, но не умели уберечься от тенет московской дипломатии. Известно, что после страшного восстания 1648 года, которое было началом конца Польской республики, и кровавой войны с поляками казаки подпали под иго

русских царей и потеряли все свои вольности. Один из Сулима был захвачен тогда поляками и замучен до смерти в Варшаве; но остальные полковники такого же закала дрались еще более упорно, и Польша потеряла Малороссию.

Что касается моего деда, то в двенадцатом году он во главе кирасирского полка сумел врубиться в каре французов, несмотря на щетину штыков, и, оставленный как убитый на поле сражения, сумел оправиться, отделавшись глубоким шрамом на голове; но стать лакеем у всемогущего Аракчева он не захотел, и его отправили в своего рода почетную ссылку – вначале генерал-губернатором в Западную, а потом в Восточную Сибирь. В то время такой пост считался более прибыльным, чем золотой прииск; но мой дед возвратился из Сибири таким же небогатым человеком, каким отправился туда. Он оставил своим трем сыновьям и трем дочерям лишь маленькое наследство. Когда я в 1862 году поехал в Сибирь, то часто слышал его имя, произносившееся с большим уважением. Чудовищное воровство, царившее тогда в Сибири, с которым мой дед был не в силах бороться, приводило его в отчаяние.

Не знаю уже, где и как отец служил после участия в войне против поляков во время революции 1831 года, знаю только, что он всегда жил в Москве, где страшно играл в карты и при жизни матери, и особенно после ее смерти. Он всегда проигрывал. Как только игра затянется попозже, он, бывало, вечно полуспит за карточным столом и все проигрывает. Да-

же под старость за ним осталась эта страсть, хотя наша мачеха всячески отвлекала его от карточной игры. В Москве это ей еще удавалось, но когда он поедет зимою продавать хлеб в тамбовское имение, продаст его и возвращается назад через Тамбов, то целая шайка тамошних помещиков и шулеров там уже ждет его и беспощадно обыгрывает.

– Славные были времена, – говорил мне как-то в подпитии один из этих тамбовских карточных героев, – как мы это с вашим папашенькой состязались. Бывало продаст хлеб, придет да так все денежки тут и оставит. Много пользовались его добротой, особенно как он сидит и дремлет за картами.

Помнится мне после смерти нашей матери была какая-то свечка с большим нагорелым обвислым фитилем, которую в девичьей таинственно показывали друг другу. Отец в этот вечер страшно проигрался в карты. Играли на мелок, и к концу игры на него насчитали 35 000 рублей – громадную сумму по тогдашнему времени. От него потребовали либо немедленной уплаты, либо векселя. Он уперся, не хотел давать вексель, но его принудили. «Заперли двери на ключ и приступили ко мне с пистолетами, я и подписал», – рассказывал он мне как-то в минуту откровенности. Подписавши вексель, он вернулся домой, зажег свечу в своем кабинете на письменном столе и уселся в свое неизменное кресло у стола. Под утро он заснул, а свеча все продолжала гореть; обгоревший фитиль упал на стол, и бумаги на столе загорелись. Чуть ли не после этого проигрыша он, кажется, пытался по-

кончить с жизнью, но его верный Фрол помешал этому, за что и был пожалован в дворецкие и стал называться с тех пор Фролом Фадеичем.

Любил ли отец нашу мать – не знаю. Если и любил, то по-своему. Знаю только, что она не была счастлива с ним, и в ее дневниках, которые она вела в Германии, когда уже с частоткою в груди ездила лечиться на воды, эта скорбь выливалась грустными строками. Мать моя, без сомнения, для своего времени была замечательная женщина. Много лет спустя после ее смерти я в углу, в кладовой, в нашем деревенском доме нашел много бумаг, написанных ее твердым и красивым почерком. То были дневники, в которых она описывала красоту природы в Германии на водах и говорила о своих печалях и о жажде счастья. Тут были также тетради запрещенных русских стихотворений, между прочим «Думы» Рыльева. В других тетрадях были ноты, французские драмы, стихи Ламартина, поэмы Байрона. Она любила музыку и, кажется, хорошо понимала ее. Нашел я также много акварелей, рисованных моей матерью. Когда отец задумал строить церковь в Петровском, мать писала для нее иконы: одну из них, Алексея божьего человека, крестьяне указывали мне с любовью, когда я был в Петровском.

Высокая, стройная, с массой каштановых волос, с темно-карими глазами, с маленьким ртом, она, как живая, глядит с портрета, написанного с любовью масляными красками хорошим художником. Она была всегда весела, подчас без-

заботна и очень любила танцы. Никольские крестьянки часто рассказывали нам, как, бывало, любовалась она с балкона на их хороводы, а потом не утерпит и сама присоединится к ним. Она была артистической натурой. На балу моя мать схватила простуду, которая кончилась воспалением легких и довела ее до могилы.

Все знавшие ее любили ее. Слуги боготворили ее память. Ради нее мадам Бурман взялась заботиться о нас. В память ее Ульяна так любила нас. Когда она чесала нас или крестила перед сном, она часто говаривала: «Бедные сиротки! Теперь ваша мамаша смотрит на вас с небес и плачет по вас».

Все мое детство перебито воспоминаниями о ней. Как часто где-нибудь в темном коридоре рука дворового ласково касалась меня или брата Александра. Как часто крестьянка, встретив нас в поле, спрашивала: «Вырастете ли вы такими добрыми, какой была ваша мать? Она нас жалела, а вы будете жалеть?»

«Нас» означало, конечно, крепостных. Не знаю, что стало бы с нами, если бы мы не нашли в нашем доме среди дворовых ту атмосферу любви, которой должны быть окружены дети. Мы были детьми нашей матери; мы были похожи на нее; и в силу этого крепостные осыпали нас заботами, подчас, как видно будет дальше в крайне трогательной форме. Мы не знали матери. Она рано покинула нас, но память о ней прошла через все наше детство и согрела его. Ее не было, но память о ней носилась в нашем доме, и, когда я теперь огля-

дываюсь на свое детство, я вижу, что я ей обязан теми лучшими искорками, которые запали в мое ребяческое сердце.

Люди жаждут бессмертия, но они часто упускают из виду тот факт, что память о действительно добрых людях живет вечно. Она запечатлевается на следующем поколении и передается снова детям. Неужели им мало такого бессмертия?

IV. Мадам Бурман. Ульяна. Пулэн. Изучение французского языка и древней истории. Воскресные развлечения. Страсть к театру

Два года после смерти матери отец мой женился во второй раз. Он уже, было, высмотрел красивую невесту из богатой семьи, когда судьба его решилась иначе. Раз утром, когда отец сидел еще в халате, вбежали перепуганные слуги и возвестили о прибытии генерала Тимофеева, начальника шестого армейского корпуса, в котором служил отец. Любимец Николая I был ужасный человек. За ошибку на параде он мог отдать приказ заporоть солдата до полусмерти. Он мог разжаловать офицера и сослать в Сибирь, если бы встретил его на улице с расстегнутыми крючками высокого, тугого воротника. У Николая слово генерала Тимофеева значило все. В это утро генерал, который до тех пор никогда не бывал у нас, явился самолично, чтобы посватать отцу племянницу жены девицу Елизавету Марковну Карандино, одну из дочерей адмирала Черноморского флота, – говорят, очень красивую тогда девицу, с правильным греческим профилем. Отец согласился, и вторая свадьба, как и первая, была отпразднована с большою торжественностью.

– Вы, молодые, ничего не понимаете в этих делах, закан-

чивал всегда отец, когда он впоследствии с непередаваемым тонким юмором рассказывал мне эту историю. – Знаешь ли ты, что в то время значило «корпусный»? А вдруг сам он, одноглазый черт, приехал сватом. Конечно, приданого было всего большой сундук, набитый бабьими тряпками, да еще сидит на нем крепостная девка Марфа, черная, как цыганка.

Я решительно ничего не помню об этом событии. Припоминается лишь большая гостиная в богато убранном доме, а в этой гостиной молодая привлекательная дама, с слишком острыми южными глазами, заигрывает с нами, повторяя: «Видите, какая веселая мамаша будет у вас!» На что Саша и я, насупившись, отвечали: «Наша мама улетела на небо!» Мы с недоверчивостью относились к такой слишком большой живости.

До свадьбы отца мы жили во флигеле нашего дома под надзором мадам Бурман. Но как только свадьба была сыграна – тоже в какой-то аристократической церкви и с «корпусным» за посаженного отца, – все в доме переменялось, и для нас началась новая жизнь. Дом продали и купили другой, который омеблировали совершенно заново. Исчезло все, что могло бы напомнить мать: ее портреты, рисунки, вышиванье. Напрасно молила мадам Бурман оставить ее в доме и обещала посвятить себя всецело ребенку, которого ожидала мачеха, ее рассчитали.

– Не хочу иметь у себя никого из дома Сулимы! – говорила мачеха. Она порвала все связи с нашими дядьями, тет-

ками и бабушкой. Ульяну назначили ключницей и выдали за Фрола, которого сделали дворецким. Старший брат, Коля, учился в кадетском корпусе в Москве и жил там. Он мог бы приезжать домой каждую субботу, но его ухитрялись брать только на долгие праздники – на Рождество и на Пасху, а лето он проводил в лагерях. Старшая сестра Лена, которая была всего только годом моложе Коли, но на шесть лет старше Саши, была в институте и по тогдашним правилам могла быть отпущена домой только в самом экстренном случае, например по случаю смерти бабушки, и то всего на несколько часов в сопровождении классной дамы.

Так мы поэтому и остались вдвоем: брат Саша, который был всего на шестнадцать месяцев старше меня, и я. С ним мы выросли, с ним мы сроднились. С ним и после мы были вместе до тех пор, пока судьба не разбросала нас по тюрьмам и ссылкам. Чтобы учить нас, приставили дорогого француза-гувернера мосье Пулэна и наняли задешево русского студента Н. П. Смирнова. Во многих домах в Москве были тогда французы-гувернеры, обломки наполеоновской великой армии. Пулэн тоже принадлежал к ней и только что закончил воспитание младшего сына романиста Загоскина. В Старой Конюшенной Сережа Загоскин считался таким благовоспитанным молодым человеком, что отец мой, не колеблясь, пригласил Пулэна за высокую по тому времени плату в 600 рублей в год.

Пулэн явился со своей охотничьей собакой Трезором,

наполеоновским кофейником, французскими учебниками и стал править нами и крепостным Матвеем, которого представили нам в прислуги. Его план воспитания был очень прост. Разбудив нас, он варил себе кофе, который пил в своей комнате. В то время как мы приготовляли уроки, он очень тщательно занимался своим туалетом: зачесывал свои седые волосы так, чтобы скрыть расплывшуюся плешь, надевал фрак, прыскал себя и вытирал одеколоном, а затем вел нас вниз поздороваться с родителями. Отца и мачеху обыкновенно заставляли за утренним кофе. Подойдя к ним, мы повторяли официальным тоном:

– Bonjour, mon cher papa.

– Bonjour, ma chere maman.

Затем мы целовали руки.

Мосье Пулэн выделял очень сложный элегантный пируэт, произнося:

– Bonjour, monsieur le prince.

– Bonjour, madame la princesse.

Выполнив все это, мы немедленно уходили к себе наверх. Эта церемония повторялась каждое утро.

Затем начиналось наше учение. Мосье Пулэн вместо фрака облачался в халат, надевал на голову кожаную шапочку, погружался в кресло и говорил: «Скажите урок».

Мы сказывали «наизусть» от одного места, отмеченного нам ногтем, до другого. Мосье Пулэн принес с собою памятную не одному поколению русских мальчиков и девочек

грамматику Ноэля и Шапсаля, книжку французских вокабул, всемирную историю в одном томике и всеобщую географию, тоже в одной книжке. Мы должны были вызубрить грамматику, вокабулы, историю и географию. С грамматикой, начинавшейся знаменитой фразой: «Что такое грамматика? Искусство правильно читать и писать», с грамматикой, говорю, дело обходилось благополучно. Но к несчастью, история начиналась с предисловия, в котором перечислялись все выгоды, проистекающие из знания этой науки. С первыми предложениями дело шло довольно гладко. Мы твердили: «Государь находит в истории примеры великодушия, чтоб следовать им при управлении своим народом; полководец изучает по ней благородное искусство ратного дела...» Но как только дело доходило до юриспруденции, все портилось. «Юрисконсульт находит в истории...», но что именно находит он, мы так и не могли узнать. Трудное слово «юрисконсульт» портило все. Как только мы добирались до него, мы останавливались.

– На колени, *gros pouff*² (это ко мне), – восклицает Пулэн. – На колени, *grand dada*³ (это по адресу брата). – И мы становились на колени и обливались слезами, тщетно стараясь выучить, что находит юрисконсульт в истории.

Это предисловие дорого нам обошлось! Мы уже выучили про римлян. Мы бросали, «как Брен», палки на чашки ве-

² Толстячок.

³ Лошадка.

сов, когда Ульяна отвешивала рис. Подражая Курцию, мы – для спасения отчизны – прыгали в бездну со стола; но мосье Пулэн все еще время от времени возвращал нас к предисловию и ставил на колени все из-за того же юрисконсульта. Нужно ли удивляться после этого, что и я, и мой брат возымели непреодолимое отвращение к юриспруденции!

Не знаю, что стало бы с географией, если бы в книжке мосье Пулэна тоже было предисловие. К счастью, первые двадцать страниц были вырваны (я думаю, эту великую услугу оказал нам Сережа Загоскин). В силу этого наши уроки начались прямо с двадцать первой страницы, со слов: «Из рек, орошающих Францию...»

Должен сознаться, что дело не всегда кончалось наказанием – на колени. В классной имелась также розга, к которой и прибегал мосье Пулэн, когда на прогресс в предисловии или же в диалогах о добродетели и благопристойности не было больше надежды. В таких случаях мосье Пулэн доставал розгу с высокого шкафа, схватывал которого-нибудь из нас, расстегивал штанишки и, захватив голову под свою левую руку, начинал хлестать нас этой розгой. Мы, конечно, стремились ускользнуть из-под его ударов, и тогда в комнате начинался отчаянный вальс под мерный свист его розги.

Эти вальсы просто в отчаяние приводили сестру Лену, когда она вышла из Екатерининского института и была поселена внизу, в комнате под нами. Так что она раз не вытерпела и, услышав наш плач, стремительно вбежала в слезах в

кабинет к отцу. Она горько стала упрекать его за то, что он отдал нас мачехе, которая сдала нас на произвол «отставному французскому барабанщику».

– Конечно, – кричала она в слезах, – здесь некому заступиться за них; но я не могу видеть, как барабанщик обращается с моими братьями.

Отец был захвачен врасплох и смешался. Он сначала стал бранить Лену, но кончил тем, что похвалил за любовь к братьям. После этого вальс стал повторяться гораздо реже, но розга долгое время все еще хранилась в большом шкафу, хотя Пулэн ограничивался только тем, что иногда снимал ее и, поднося к нашим носам, выкрикивал: «Нюк! нюк!» (нюхай). Вскоре розга сохранялась лишь для того, чтобы внушить Трезорке правила благопристойности.

Покончив с тяжелыми учительскими обязанностями, мосье Пулэн мгновенно преобразался; пред нами был уже не свирепый педагог, а веселый товарищ. После завтрака он водил нас на прогулку, и здесь не было конца его рассказам. Мы болтали, как птички. Хотя мы не забирались с Пулэном дальше первых страниц синтаксиса, но мы скоро научились «правильно говорить». Мы стали думать по-французски. Когда же он продиктовал нам полкниги о мифологии (он исправлял ошибки по книге, никогда не пытаясь даже объяснить, почему слово должно быть писано так, а не иначе), то мы постигли также, как «правильно писать» по-французски.

После обеда мы занимались с учителем русского языка,

студентом юридического факультета Московского университета. Он обучал всем «русским» предметам: грамматике, арифметике и т. п. В те годы серьезное учение еще не началось. Одновременно он диктовал нам ежедневно по странице из истории, и таким образом мы на практике быстро научились совершенно правильно писать по-русски.

Наше лучшее время бывало по воскресеньям, когда все наши, кроме детей, отправлялись на обед к генеральше Тимофеевой. Порой случалось также, что отпуск получали в этот день Пулэн и Николай Павлович Смирнов. В таком случае мы оставались на попечении Ульяны. Наскоро пообедав, мы отправлялись в парадный зал, куда скоро являлась и молодежь из горничных. Затевались всевозможные игры: в жмурки, в коршуна и т. д. Затем мастер на все руки Тихон являлся со скрипкой. Начиналась пляска: не скучные, мерные танцы под управлением танцмейстера француза «на резиновых ножках» (танцы, конечно, входили в программу нашего воспитания), а живой танец – не урок. Пар двадцать кружилось в разные стороны, но это было лишь вступлением к еще более оживленному казачку. Тихон тогда вручал скрипку одному из стариков и начинал вывертывать ногами такие мудреные фигуры, что в дверях показывались повара и даже кучера, желавшие поглядеть на любезный их сердцу танец.

В девять часов за нашими посылалась большая карета. Тихон, вооружившись щеткой, ползал по паркету, чтобы вос-

становить опять его девственный блеск. В доме воцарялся образцовый порядок. И если бы нас с братом на другой день подвергли самому строгому допросу, мы не обмолвились бы ни словом о развлечениях предыдущего вечера. Мы ни за что не выдали бы никого из слуг точно так же, как никто из них не выдал бы нас.

Раз, в воскресенье, мы с братом играли одни в большой зале и набежали на подставку, поддерживавшую дорогую лампу. Лампа разбилась вдребезги. Немедленно же дворовые собрали совет. Никто не упрекал нас. Решено было, что на другой день рано утром Тихон на свой страх и ответственность выберется потихоньку, побежит на Кузнецкий мост и там купит такую же лампу. Она стоила пятнадцать рублей – для дворовых громадная сумма. Но лампу купили, а нас никто никогда не попрекнул даже словом.

Когда я думаю теперь о прошлом и в моей памяти восстают все эти сцены, я припоминаю также, что во время игр мы никогда не слышали грубых слов; не видали мы также в танцах ничего такого, чем теперь угощают даже детей в театре. В людской, промеж себя, дворовые, конечно, употребляли неприличные выражения. Но мы были дети, ее дети, и это охраняло нас от всего худого.

В те времена детей не заваливали такой массой игрушек, как теперь. Собственно говоря, их у нас почти вовсе не имелось, и мы вынуждены были прибегать к нашей собственной изобретательности. С другой стороны, мы с братом рано

приобрели вкус к театру. Впечатление, произведенное масленичными балаганами, с их представлениями сражений и разбойников, продолжалось недолго: мы сами предостаточно играли в казаков и разбойников. Но в Москву прибыла балетная звезда первой величины Фанни Эльслер, и мы увидели ее. Когда отец покупал билет в театр, то брал всегда лучшую ложу, не жалея денег; но зато он хотел, чтобы за эти деньги наслаждалась вся семья. Взяли и меня, несмотря на то, что я был тогда очень мал. Фанни Эльслер произвела на меня такое глубокое впечатление грациозностью, воздушностью и изяществом всякого движения, что с тех пор танцы, относящиеся скорее к области гимнастических упражнений, чем искусства, никогда меня не интересовали.

Нечего и говорить, что «Гитану, испанскую цыганку», балет, в котором Эльслер участвовала, мы решили поставить дома, то есть содержание балета, а не танцы. У нас была готовая сцена: дверь из спальни в классную закрывалась занавесью. Несколько стульев полукругом и кресло для мосье Пулэна составили зрительный зал и царскую ложу. Публику мы легко собрали: тут были Ульяна, русский учитель и двести горничные. Мы решили во что бы то ни стало поставить две сцены: ту, в которой цыгане привозят в табор маленькую Гитану в тачке, и ту, где Гитана в первый раз появляется на сцене, спускается с пригорка и переходит по мосту через ручей, в котором отражается ее образ. Зрители тогда стали бешено аплодировать, и мы решили, что рукоплескания были

вызваны отражением в ручье.

Для роли Гитаны мы выбрали одну из самых маленьких девочек в девичьей. Ее оборванное пестрядинное платье не составляло препятствия. Перевернутый стул вполне заменил тачку. Но ручей! Из двух кресел и гладильной доски портного Андрея мы соорудили мост, а из куска синей китайки – ручей. Для получения отражения мы пустили в ход маленькое круглое зеркало, перед которым брился Пулэн; но, сколько мы ни старались, отражения во весь рост не получалось. После многих неудачных попыток мы должны были отказаться от опытов с зеркалом. Но мы упростили Ульяну, чтобы она поступила так, как будто бы видела отражение в ручье, и аплодировала бы громко. Таким образом, в конце концов мы сами начали верить, что, быть может, что-нибудь и видно в самом деле.

Расиновская «Федра» – или по крайней мере последний акт трагедии сходилась тоже очень не дурно, а именно Саша прекрасно декламировал звучные стихи:

«A peine nous sortions des portes de Trezene».

А я сидел совершенно неподвижно во все время трагического монолога, возвещавшего мне о смерти сына, до тех пор, покада, согласно книжке, я должен был подать реплику: «Oh, dieux!».

Но что бы мы ни играли, все наши представления неиз-

менно заканчивались адом. Мы тушили все свечи, кроме одной, которую ставили за прозрачный экран, намазанный суриком, что должно было изображать пламя. Мы с братом затем прятались и принимались отчаянно выть, как осужденные грешники. Ульяна не любила поминать черта к ночи и пугалась; но я задаю себе вопрос, не содействовало ли это слишком конкретное представление ада – при помощи сальной свечки и листа бумаги – тому, что мы с братом уже в раннем возрасте освободились от страха геенны огненной. Наше представление было слишком реально, чтобы не пробудить скептицизма.

Вероятно, я был еще очень мал, когда увидел знаменитых московских актеров Щепкина, Садовского и Шумского в «Ревизоре» и в «Свадьбе Кречинского». Тем не менее я живо помню не только все выдающиеся сцены в обеих комедиях, но даже интонацию наших великих актеров реалистической школы: их игра так сильно запечатлелась во мне, что, когда я впоследствии видел те же пьесы в Петербурге в исполнении актеров французской декламаторской школы, я не мог выносить их. Я сравнивал этих актеров с Щепкиным и Садовским, установившими мой вкус в драматическом искусстве. Это наводит меня, кстати, на мысль, что родители, желающие воспитать в детях художественный вкус, должны их брать изредка в театр смотреть хороших актеров в хороших пьесах, а не так называемые детские пантомимы.

V. Бал в честь Николая

I. Назначение в пажи

На восьмом году в моей жизни произошло событие, определившее, как пойдет мое дальнейшее воспитание. Я не знаю в точности по какому случаю, но полагаю, что по поводу двадцатипятилетия со дня вступления на престол Николая I в Москве подготовлялся грандиозный бал. Двор должен был прибыть в старую столицу, и московское дворянство решило ознаменовать событие костюмированным балом, в котором детям предстояло принять видное участие. Решено было, что приветствовать императора должны все различные народности, входящие в состав империи. Как у нас, так и у соседей шли большие приготовления. Для нашей мачехи был приготовлен замечательный русский костюм. Так как отец был военным, то, разумеется, он должен был явиться в мундире; но те из наших родственников, которые не служили, не менее дам были заняты приготовлением русских, греческих, кавказских, монгольских и других костюмов. Когда московское дворянство дает бал государю, бал должен отличаться необыкновенной пышностью. Нас с братом считали слишком молодыми, чтобы принять участие в торжестве.

Но в конце концов я попал-таки на бал. Наша мать была очень дружна с Назимовой, женой генерала, который был впоследствии виленским генерал-губернатором. Назимовой,

очень красивой женщине, предстояло явиться в сопровождении восьмилетнего сына, в великолепном костюме персидской царицы. Соответственно и сын должен был быть в очень богатом костюме, перехваченном поясом, украшенным драгоценными камнями. Но мальчик заболел как раз перед балом, и Назимова решила, что один из сыновей ее лучшего друга лучше всего заменит больного. Нас с Сашей позвали к Назимовой, чтобы примерить костюм. Он оказался короток для Александра, который был выше меня ростом; но мне костюм пришелся как раз впору. Решено было, что изображать персидского царевича буду я.

Громадный зал московского дворянского собрания был наполнен гостями. Каждому из детей вручили жезл с гербом одной из шестидесяти губерний Российской империи. На моем жезле значился орел, парящий над голубым морем, что, как я узнал впоследствии, изображало герб Астраханской губернии. Нас выстроили в конце громадного зала; затем мы попарно направились к возвышению, на котором находились император и его семья. Когда мы подходили, то расходились направо и налево и выстроились таким образом в один ряд перед возвышением. Тогда по данному нам приказанию мы склонили все жезлы с гербами перед Николаем... Апофеоз самодержавия вышел очень эффектным. Николай был в восторге. Все провинции преклонялись перед верховным правителем. Затем мы, дети, стали медленно уходить в глубь залы.

Но тут произошло некоторое замешательство; засуетились камергеры в расшитых золотом мундирах, и меня вывели из рядов. Мой дядя князь Гагарин, одетый тунгусом (я не мог наглядеться на его кафтан из тонкой замши, на его лук и на колчан, наполненный стрелами), поднял меня на руки и поставил на платформу перед царем.

Не знаю, потому ли, что я был самый маленький в процессии, или потому, что мое круглое лицо с кудрями казалось особенно потешным под высокой смушковой шапкой, но Николай пожелал видеть меня на платформе. Мне потом сказали, что Николай, любивший всегда казарменные остро-ты, взял меня за руку, подвел к Марии Александровне (жене наследника), которая тогда ждала третьего ребенка, и по-солдатски сказал ей: «Вот каких молодцов мне нужно!» Эта острота, конечно, заставила Марию Александровну покраснеть. Во всяком случае я очень хорошо помню, как Николай спросил: хочу ли я конфет? На что я ответил, что хотел бы иметь крендельков, которые нам подавали к чаю в торжественных случаях. Николай подозвал лакея и высыпал полный поднос крендельков в мою высокую шапку.

– Я отвезу их Саше, – сказал я Николаю.

В конце концов фельдфебелеобразный брат Николая Михаил, имевший репутацию остряка, ухитрился-таки заставить меня заплакать.

– Когда ты пай-дитя, тебя гладят вот так, – сказал он и провел своею большою рукою по моему лицу сверху вниз. –

Когда же ты шалишь, тебя гладят вот эдак, и он провел рукой вверх, сильно нажимая нос, который и без того проявлял уже склонности расти кверху. На моих глазах показались слезы, которые я напрасно старался удержать. Дамы, впрочем, заступились за меня. Добрая Мария Александровна взяла меня под свое покровительство. Она усадила меня рядом с собою на высокий с золоченой спинкой бархатный стул. Мне говорили впоследствии, что я скоро заснул, положив голову ей на колени, а она не вставала с места во все время бала. Помню я также, что родные, когда мы дожидались кареты, гладили меня по голове, целовали и говорили: «Петя, ты назначен пажем!» На что я отвечал: «Я не паж, я домой хочу», — и очень был озабочен моей шапкой, в которой лежали предназначенные для Саши крендельки.

Не знаю, много ли их досталось Саше, но помню, что он крепко обнял меня, когда ему сказали, что я беспокоился о шапке.

Быть записанным в кандидаты в Пажеский корпус считалось тогда большой милостью. Николай редко ее оказывал московскому дворянству. Отец мой был в восторге и мечтал уже о той блестящей карьере, которую сделает при дворе сын; а мачеха, когда она потом рассказывала про это событие, никогда не забывала прибавить: «А все это потому, что я его благословила перед балом!»

Назимова была в восторге и заказала акварельный портрет, на котором она изображена в персидском костюме и я

рядом с ней.

Через год решилась также судьба Александра. В Петербурге праздновался юбилей Измайловского полка, в котором отец служил в молодости. Раз ночью, когда в доме все спали глубоким сном, у ворот остановилась, гремя колокольчиками, тройка. Выскочил из кибитки фельдъегерь и громко крикнул: «Отпирайте! Приказ от государя императора!..»

Можно легко себе представить, какой ужас нагнало на весь дом это ночное посещение Отец, дрожа, накинул халат и спустился в кабинет.

«Военный суд, разжалование в солдаты» мерещилось тогда каждому офицеру. То было ужасное время. Оказалось, однако, что Николай просто пожелал иметь имена всех сыновей офицеров, когда-либо служивших в Измайловском полку, чтобы распределить мальчиков по военно-учебным заведениям, если это еще не было сделано. С этой целью и послали из Петербурга в Москву курьера, который днем и ночью стучался в дома всех бывших офицеров Измайловского полка.

Дрожащей рукой отец записал, что его старший сын Николай уже учится в Первомосковском кадетском корпусе, что младший сын Петр – кандидат в Пажеский корпус и что остался лишь средний сын Александр, который еще не поступил в военно-учебное заведение. Через несколько недель пришла бумага, извещавшая отца о «монаршей милости». Александра повелевалось определить в орловский кадетский

корпус. Отцу стоило немало хлопот и денег, чтобы добиться позволения определить Александра в московский кадетский корпус. Новая «милость» была оказана только ввиду того, что старший сын уже учится в этом корпусе.

Таким образом, по воле Николая I нам обоим предстояло получить военное воспитание, хотя через несколько лет мы возненавидели военную службу по причине ее нелепости. Но Николай бдительно следил за тем, чтобы все сыновья дворян, кроме хворых, избирали военную карьеру. Таким образом, к великому утешению отца, мы все трое должны были стать офицерами.

VI. Нравы старого барства. Крепостные слуги. Типы Старой Конюшенной

В то время богатство помещиков измерялось числом «душ», которыми владел помещик. «Души» означали крепостных мужского пола, женщины в счет не шли. Мой отец считался богатым человеком. У него было более 1200 душ в трех различных губерниях⁴ и еще большие земли, и он жил соответственно своему положению. Это значило, что его дом был открыт для гостей и что отец держал многочисленную дворню. В семье нас было восемь человек, иногда десять или двенадцать, между тем пятьдесят человек прислуги в Москве и около шестидесяти в деревне не считалось слишком большим штатом. Тогда казалось непонятным, как можно обойтись без четырех кучеров, смотревших за двенадцатью лошадьми, без трех поваров для господ и кухарок для «людей», без двенадцати лакеев, прислуживавших за столом во время обеда (за каждым обедающим стоял лакей с тарелкой), и без бесчисленных горничных в девичьей.

В то время заветным желанием каждого помещика было, чтобы все необходимое в хозяйстве изготовлялось собственными крепостными людьми. Все это вот для чего. Если кто-

⁴ В Калужской, Рязанской, Тамбовской.

нибудь из гостей заметит:

– Как хорошо настроен ваш рояль. Ваш настройщик, вероятно, Шиммель?

То помещик гордо отвечал:

– У меня собственный настройщик.

– Что за прекрасное пирожное! – бывало, воскликнет кто-нибудь из гостей, когда к концу обеда появлялось своего рода художественное произведение из мороженого и печений. – Признайтесь, князь, это от Трамбле (модный кондитер того времени).

– Нет, это делал мой собственный кондитер, ученик Трамбле. Я позволил ему сегодня показать свое искусство.

Заветным желанием каждого богатого и знатного помещика было иметь мебель, сбрую, вышивки – словом, все от собственных мастеров. Когда детям дворовых исполнялось десять лет, их отдавали на выучку в модные мастерские. Пять или семь лет они подметали лавку, получали бесчисленные колотушки и состояли главным образом на побегушках. Я должен сказать, что не многие выучивались в совершенстве ремеслу. Портные и сапожники могли шить платье и сапоги только на прислугу; когда же нужно было действительно хорошее пирожное, его заказывали у Трамбле, а наш кондитер в это время играл на барабане в крепостном оркестре. Этот оркестр был другим пунктом тщеславия моего отца. Не то чтобы он сам был большой любитель музыки, но так требовалось для большей важности, а потому почти каж-

дый дворовый помимо своего ремесла состоял еще басом, тромбоном и кларнетом в оркестре. Настройщик Макар, он же помощник дворецкого, играл также на флейте. Портной Андрей играл на валторне. Обязанностью же кондитера было вначале бить в барабан, но он так усердствовал, что оглушал всех. Тогда ему купили чудовищную трубу в надежде, что, может быть, легкими он не будет в состоянии производить такой шум, как руками. Но когда и эта надежда не оправдалась, его сдали в солдаты. Что же касается рябого Тихона, то помимо бесчисленных обязанностей в доме в роли ламповщика, полотера или выездного лакея он еще не без пользы помогал в оркестре, сегодня на тромбоне, завтра на контрабасе, а не то и как вторая скрипка.

Две первые скрипки составляли единственное исключение из правила. Они были только скрипками. Отец купил их за большие деньги, с семьями, у сестер (он никогда не покупал крепостных у посторонних и не продавал людей чужим). И вот по вечерам, когда отец не уезжал в клуб или когда у нас бывали гости, отец приказывал дворецкому «собрать музыку». На наш оркестр был большой спрос, когда соседи, в особенности в деревне, устраивали вечера с танцами. Каждый раз, конечно, в подобных случаях нужно было спросить разрешение отца.

Ничто не доставляло отцу такого удовольствия, как когда к нему обращались с просьбой по поводу оркестра или чего-либо другого: например, определить мальчика на казен-

ный счет в школу или освободить кого-нибудь от наказания, наложенного судом. Хотя отец способен был на взрывы бешенства, но по натуре, без сомнения, он был довольно мягкий человек. И когда к нему обращались за протекцией, он писал десятки писем во все стороны ко всем высокопоставленным лицам, которые могли быть полезны его протее. В таких случаях его и без того немалая переписка увеличивалась еще полудюжиной специальных писем, написанных в крайне характерном, полуофициальном полушутливом тоне. Каждое письмо, конечно, запечатывалось гербовой печатью отца. Большой квадратный конверт шумел тогда, как детская погремушка, по причине песка, которым густо посыпалось письмо: промокательной бумаги в то время еще не знали. Чем труднее была просьба, тем большую энергию проявлял отец, покуда не добивался просимого для протее, которого во многих случаях никогда даже в глаза не видал.

Отец мой любил, чтобы у него были гости. Обедали мы в четыре часа, а в семь вся семья собиралась вокруг самовара. В это время мог приходиться всякий принадлежавший к нашему кругу. В особенности не было недостатка в гостях, когда Лена возвратилась из института. Если в окнах, выходящих на улицу, был свет, знакомые знали, что наши дома и что гостям будут рады.

Гости собирались почти каждый вечер. В зале раскрывались ломберные столы. Молодежь же и дамы оставались в гостиной или же собирались возле рояля. После ухода дам

картежная игра продолжалась до рассвета, и значительные суммы переходили тогда из рук в руки. Отец мой постоянно проигрывал. Опасной для него, однако, являлась игра не дома, а в английском клубе, где ставки были выше. В особенности опасно было, когда отца звали на партию «с очень почтенными господами» в один из наиболее уважаемых домов в Старой Конюшенной, где большая игра шла всю ночь. В подобных случаях отец проигрывал очень много.

Нередко устраивались танцевальные вечера, не говоря уже о двух обязательных балах каждую зиму. В подобных случаях отец не смотрел на издержки, а устраивал все как можно лучше. В то же время в будничной нашей жизни проявлялась такая скарედность, что, если бы я стал рассказывать подробности, их сочли бы за преувеличение. Об одном претенденте на французский престол, который прославился великолепными охотничьими партиями, говорят, что в его доме даже сальные огарки были на счету. Такая же мелочная экономия во всем практиковалась и в нашем доме, и скупость доходила до того, что мы, дети, когда выросли, возненавидели бережливость и расчет. Впрочем, в Старой Конюшенной такая манера жить заставляла лишь всех относиться еще с большим уважением к отцу.

– Старый князь, – говорили все, – скуповат на домашние расходы, зато уж знает, как следует жить дворянину.

В наших тихих и чистеньких улочках именно такая жизнь уважалась в особенности. Один из наших соседей, генерал

Дурново, вел дом на широкую ногу, а между тем ежедневно между бариним и поваром происходили самые комические сцены. После утреннего чая старый генерал, посасывая трубку, сам заказывал обед.

– Ну, братец, – говорил он повару, являвшемуся в малую столовую в белоснежной куртке и колпаке, – сегодня нас будет немного, не более двух-трех гостей. Ты соорудишь суп, знаешь, с какой-нибудь первинкой: с зеленым горошком, фасолью...

– Слушаю-с, ваше превосходительство.

– Затем, что там хочешь на второе.

– Слушаю-с, ваше превосходительство.

– Конечно, спаржа еще дороговата, хотя я видел вчера в лавке такие славные пучки...

– Точно так, ваше превосходительство, по четыре целковых за пучок.

– Совершенно верно. Ну, твои жареные цыплята и индейки нам надоели до смерти. Ты приготовь нам что-нибудь новое.

– Не прикажете ли дичи, ваше превосходительство?

– Да, да, братец, что-нибудь такое.

Когда все шесть блюд бывали обсуждены, старый генерал спрашивал:

– Ну а сколько тебе на расходы? Я думаю, три рубля хватит.

– Десять целковых, ваше превосходительство

– Не говори глупостей, любезный. Вот тебе три рубля Я знаю, что их за глаза достаточно.

– Как же так? Четыре целковых за спаржу да два с полтиной за зелень.

– Ну, слушай, любезный, посовестись. Так и быть, прибавлю еще три четвертака, а ты экономничай.

Торг таким образом продолжался около получаса. Наконец сходились на семи рублях с четвертаком с условием, чтоб обед на другой день стоил бы не больше полутора рублей. Генерал, счастливый тем, что устроил все так выгодно, приказывал закладывать сани и отправиться в модные лавки, откуда возвращался сияющий и привозил жене флакон тонких духов, за который заплатил бешеную цену во французском магазине, а единственной своей дочери он сообщал, что пришлют от мадам такой-то для примерки «очень простенькую», но очень дорогую бархатную мантилью.

Вся наша бесчисленная родня со стороны отца жила точно таким же образом. Если порой проявлялись какие-нибудь новые стремления, они обыкновенно принимали религиозную форму. Так, например, к великому смущению «всей Москвы» один князь Гагарин поступил в орден иезуитов, другой молодой князь пошел в монастырь, а несколько старых дам стали отчаянными святошами.

Бывали и исключения. Один из наших ближних родственников, назову его Мирским, провел молодость в Петербурге, где служил в гвардии. Иметь крепостного портного или ме-

бельщика его не занимало. Дом его был великолепно убран, а платье он носил от лучшего петербургского портного. Он не любил карт и играл лишь с дамами; зато его слабостью была еда, на которую он тратил невероятные деньги.

В особенности развешивался он во время поста и Пасхи. Постом он погружался всецело в изобретение тонких рыбных блюд. С этой целью он перерывал лавки в обеих столицах, а из вотчин командировались специальные гонцы к устьям Волги, чтобы доставить оттуда на почтовых (железных дорог тогда еще не было) громадного осетра или какой-нибудь необыкновенный балык. Когда же наступала Пасха, его изобретательности не было конца.

Пасха – наиболее чтимый и наиболее веселый праздник в России, праздник весны. Тают громадные сугробы, лежащие всю зиму, и бурные ручьи бегут по улицам. Весна приходит не как тать, крадучись, незаметно, но открыто. Каждый день замечается перемена как в снежных сугробах, так и в наливающихся почках. Ночные морозы лишь слегка замедляют оттепель. В мое время страстная неделя встречалась в Москве необыкновенно торжественно. Толпы народа ходили в церкви, особенно в четверг, послушать те трогательные места Евангелия, в которых говорится о страданиях Христа. На страстной не ели даже рыбы, а наиболее благочестивые вовсе не касались еды в страстную пятницу. Тем более разительен был переход к Пасхе.

В субботу все отправлялись ко всенощной. Начало ее, как

известно, очень печально. Но в полночь возвещается о воскресении Христовом. Все церкви разом освещаются. С сотен колоколен раздается радостный трезвон колоколов. Начинается всеобщее веселье... Церкви, залитые светом, пестреют нарядными туалетами дам. Даже самая бедная женщина постарается на Пасху надеть обновку, и если она шьет себе новое платье только раз в год, то сошьет его, конечно, к этому дню.

Как и тогда, так и теперь Пасха является также временем крайней невоздержанности в пище. В богатых домах готовятся к этому времени самые вычурные пасхи и куличи, и, как бы беден кто ни был, он должен иметь хотя бы одну пасху и маленький кулич и хотя бы одно красное яйцо, чтобы освятить их в церкви и разговеться.

Большинство начинало есть ночью, после заутрени, непосредственно после того, как освященные куличи приносились из церкви. В богатых же барских домах разговенье откладывалось до воскресенья. К утру накрывался громадный стол и устанавливался всякого рода яствами, и, когда господа выходили в столовую, вся многочисленная дворня вплоть до последней судомойки приходила христосоваться.

Всю пасхальную неделю в зале стоял накрытый стол, и гости приглашались закусить. И в этом случае князь Мирский, бывало, развернется! Даже когда он встречал Пасху в Петербурге, гонцы одинаково привозили ему из деревни нарочито приготовленный творог для пасхи, из которого повар масте-

рил своего рода художественные произведения; а другой нарочный скакал в новгородскую деревню за медвежьим око-роком, который специально коптился для княжеского пасхального стола.

Княгиня бывала всю страстную неделю в очень удрученном настроении, посещая с двумя дочерьми самые суровые монастыри, где каждая всенощная длилась по три и по четыре часа, и съедая только кусок черствого хлеба в промежутках между службами и посещением православных, католических и протестантских проповедников. А муж ее в это время каждое утро объезжал знаменитые Милютины лавки, где гастрономы находят деликатесы со всех концов земли. Здесь князь выбирал для пасхального стола все самое дорогое и тонкое. Зато во время пасхальной недели сотни гостей являлись к нему, и их просили «только отведать» ту или другую диковину.

Кончилось тем, что князь ухитрился буквально проесть свое значительное состояние. Его роскошно обмоблированный дом и прекрасное имение продали, и на старости лет у князя и княгини ничего не осталось: не было даже своего угла. Они должны были жить у детей.

Так шла жизнь в наших краях, и нечего удивляться поэтому, что после освобождения крестьян почти вся Старая Коношенная разорилась. Но я забегаю вперед.

VII. Наказы бурмистрам. Доставка живности. Переезд в Никольское. Долгие сборы. Пулэн объясняет подвиги наполеоновской армии. Военные упражнения. Пробуждение демократического духа. Наши соседи

Содержать такую многочисленную дворню, как у нас, было бы накладно, если бы приходилось всю провизию покупать в Москве. Но во время крепостного права все устраивалось очень просто. Когда наступала зима, отец садился за стол и писал: *«Бурмистру моему села Никольского Калужской губернии, Мещовского уезда, что на реке Серене, от князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера*

Приказ

По получению сего, как только установится санный путь, предписывается тебе отправить в мой дом, в город Москву, двадцать пять крестьянских парных подвод, по лошади от двора да по человеку и по дровням от другого; нагрузить столько-то четвертей овса, столько-то пшеницы, столько-то ржи, а также кур, гусей и уток, которые должны быть убиты в эту зиму, хорошо заморожены,

хорошо упакованы и препровождены при описи с верными людьми...».

В том же духе шли две страницы до первой точки. Далее шло перечисление наказаний, которые постигнут виновников, если провизия не прибудет вовремя и в хорошем состоянии в дом номер такой-то, на такой-то улице.

Незадолго до Рождества двадцать пять крестьянских саней действительно въезжали в ворота и заполняли весь громадный двор.

Как только докладывалось отцу об этом важном событии, он начинал звать громко:

– Фрол! Кирюшка! Егорка! Где вы там? Все раскрадут! Фрол, ступай принимать овес! Ульяна, ступай принимать птицу! Кирюшка, зови княгиню!

Во всем доме начиналось смятение. Слуги метались как угорелые во все стороны, из передней во двор, а из двора опять в переднюю, но главным образом в девичью, чтобы сообщить Никольские новости: «Паша выходит замуж после Рождества. Тетка Анна отдала богу душу» и т. п. Прибывали также и письма из деревни. Вскоре которая-нибудь из горничных уже пробиралась наверх в мою комнату.

– Петенька, вы одни? Учителя нет?

– Нет, он в университете.

– Так ты, пожалуйста, прочитай письмо от матери.

И я принимался читать наивное письмо, которое неизмен-

но начиналось словами: «Родители шлют тебе свое благословение, навеки нерушимое». Затем следовали уже новости: «Тетка Афросинья больна, ноют у ней все кости. Братан еще не женился, но уповаем, женится на красную горку. Тетки Степаниды корова пала на всех святых». За новостями шли две страницы поклонов: «Братец Павел посылает поклон, и сестрицы Марья и Дарья шлют поклон, и еще низкий поклон от дяди Митрия» и т. д. Несмотря на монотонность перечисления, каждое имя вызывало какое-нибудь замечание: «Значит, еще жива, бедная! Вот уже девять лет, как она лежит пластом». Или: «Ишь, не забыл меня. Значит, вернулся к Рождеству. Такой славный парень. Вы напишете мне письмо? Тогда и его не забыть бы». Я обещал, конечно, и в должное время писал письмо точно в таком же роде.

Когда сани бывали разгружены, передняя наполнялась крестьянами. Они стояли в армяках поверх полушубков и дожидались, покуда отец позовет их в кабинет, чтобы расспросить о том, каков снег выпал и каковы виды на урожай. Они робели ступать по навощенному паркету, и немногие решались присесть на краешек дубовой скамьи. От стульев они наотрез отказывались. Так они дожидались целыми часами, глядя с тоской на каждого входившего или же выходящего из кабинета.

Несколько попозже, обыкновенно на другой день, кто-нибудь из слуг украдкой пробирался в нашу классную комнату.

– Князинька, вы одни?

– Да.

– Так бегите скорее в переднюю. Мужики хотят вас видеть. Гостинцы привезли от кормилицы.

Когда я спускался в переднюю, кто-нибудь из крестьян вручал мне узелок с гостинцем: несколько ржаных лепешек, полдюжины крутых яиц и несколько яблок. Все это бывало завязано в пестрый ситцевый платок.

– Вот это тебе гостинцы от кормилицы Василисы. Уж не замерзли ли яблоки? Авось нет. Я их всю дорогу держал за пазухой. Да уж не дай бог, какой мороз! – И широкое, бородатое лицо сияло от улыбки, а из-под густой стрехи усов сверкали два ряда ослепительных зубов.

– А это для братца, от его кормилицы Анны, прибавлял другой, вручая мне такой же узелок. – Бедный, сказывала она, поди, никогда не доест-то там в корпусе.

Я краснел и не знал, что ответить. Наконец, я бормотал: «Скажи Василисе, что я целую ее; то же самое скажи Анне от брата». При этом лица у крестьян еще более расцветали.

– Да, ужо передам, само собою.

Кирила, который караулил у дверей отцовского кабинета, начинал шептать: «Бегите скорее наверх, папаша сейчас выйдут. Не забудьте платок: они хотят его взять обратно», – шептал он, догоняя меня на лестнице; и когда я тщательно складывал поношенный платок, мне сильно хотелось послать Василисе что-нибудь. Но у меня ничего не было, не было даже игрушек. Никогда нам не давали карманных денег.

Лучшее наше время было, конечно, в деревне. Наступала весна. Снег таял, и вниз по Пречистенке, вдоль тротуаров, бежали шумные потоки воды. Около бульвара потоки сливались с другой, более шумной речкой, несшей вниз по Сивцеву Вражку пустые бутылки, студенческие тетради и всякий мусор. Эти потоки образовали у бульвара большое озеро, с каждым днем становилось все теплее, и все наши мысли неслись в Никольское.

Сирень, должно быть, отцвела в Никольском, а сборы в дорогу еще не начинались. Но вот в один прекрасный день во двор въезжает пять-шесть крестьянских телег, нагруженных овсом и мукою, это телеги «под обоз».

Начинаются сборы. Учение идет вяло: мы то и дело спрашиваем посреди уроков, взять ли с собою такие-то книги в Никольское, и раньше всех мы начинаем укладывать наши книги, аспидные доски, бумаги и самодельные игрушки. Во двор выкатываются из каретника громадная, шестиместная карета на висячих рессорах, коляска, тарантас, и из кабинета доносятся громкие крики отца. Дворецкому, кучерам, мачехе – всем достается, оказывается, что надо отсылать экипажи в починку, нужно перековывать лошадей или исправлять хомуты.

Легко ли в самом деле собраться в деревню? Вся семья, человек в десять – двенадцать, все дворовые и весь кухонный и домашний скарб должны быть перевезены за 230 верст от Москвы.

Наконец хомуты и экипажи налажены, «важи», то есть большие плоские чемоданы, которые кладутся на верх большой кареты, уложены, целый воз нагружен громадными ящиками с пустыми стеклянными банками, которые осенью вернутся полными всякого варенья; на другом возу громоздятся матрацы, постели и кое-какая мебель, негодная уже для города, но полезная в деревне... Как только повезут такие возы крестьянские клячи!

Мужики каждый день набиваются в передней в ожидании приказа о выезде, кричат, кланяются, утираются клетчатými тряпицами и тяжело вздыхают. Пора по домам, работы дома не оберешься. Их послали с конными подводами в Москву в зачет барщины, но кто знает: зачтут ли все дни, прожитые в Москве? Да и дома работа не ждет, и вот Акси́нья, улучив добрую минуту, говорит мачехе, как бы мимоходом: «Мужики плачутся, домой им нужно, готовиться к покосу».

– Давно пора, – отвечает мачеха, – но князь не может справиться со своими делами.

Проходит день, другой, третий. Отец все пишет по утрам в кабинете, а вечером пропадает в клубе, возы стоят увязанные во дворе, а приказа о выезде все нет.

Наконец вечером к отцу требуют дворецкого Фрола и первую скрипку Михаила Алеева. Отец вручает дворецкому «кормовые» всей дворне, по пятнадцать копеек серебром мужчинам, по десять копеек женщинам в сутки, и длинный

список в сорок с лишком человек, где фигурирует весь оркестр, повара, поваренки, судомойки, кухарки, Секлетинья, жена Андрея-повара (был еще Андрей-портной), с семьей из шести ребятишек, Польшка-косая, Мишка-повар (ему сорок лет) и т. д.

Затем Михаилу Алееву – он же первая скрипка – вручается приказ, написанный отцом крупным почерком, в большом конверте с кучею песка (тогда еще не знали пропускной бумаги).

«Дворецкому человеку Михаилу Алееву, князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера,

Приказ

Предписывается тебе такого-то числа, в 6 часов утра, выступить с моим обозом из Москвы в имение мое, в село Никольское, Калужской губернии, Мещовского уезда, что на реке Серене, в 230 верстах от сего дома; смотреть за порядком между людьми, и ежели который-нибудь окажется виновными в пьянстве или бесчинстве и неповинности, то ты должен явиться в ближайший город – Подольск или Малый Ярославец – к начальнику внутренней стражи и от моего имени просить о примерном наказании. Смотреть неукоснительно за целостью обоза и следовать по нижеследующему расписанию:

село такое-то – привал,

город Подольск – ночлег и т. д.».

И вот на другой день, в десять часов вместо шести – точность не в числе русских добродетелей (слава богу, мы не немцы), – обоз трогался в путь. Вдоль по Штатному и Денежному переулкам, вверх по Пречистенке, по направлению к Крымскому мосту и Калужским воротам вытягивалась дворян. «Оркестр» преобразался в каких-то цыган во всевозможных казакиных и хламидах; и старые, и молодые, женщины и дети брели вдоль московских улиц по направлению к Калужским воротам. Покуда шли в Москве, строго соблюдалось, чтобы «люди» шли в приличной одежде. Заткнуть брюки в голенища сапог или подпоясаться – строго запрещалось. Но как только выходили на большое Варшавское шоссе, дисциплина исчезала, и, когда мы нагоняли дня через два-три обоз – особенно если известно было, что отец останется в Москве и приедет позже на почтовых, – дворян в каких-то кафтанах, запыленная, с обгорелыми лицами, подпираясь самодельными палками, походила скорее на кочующий цыганский табор, чем на дворян княжеского дома. Дети сидели наверху и на задах нагруженных телег, туда же иногда подсаживались женщины, но мужчины все двести тридцать верст шли пешком и в жару, по пыли или слякоти, по грязи.

И так делалось везде в Старой Конюшенной. Из всех дворянских домов выступали каждую весну такие же обозы – так странствовали в то время дворовые всех барских домов. Когда мы видели толпу слуг, проходивших по одной из на-

ших улиц, мы знали уже, что Апухтины или Прянишниковы перебираются в деревню.

Обоз выезжал, а семья наша все еще не трогалась. Дня два-три спустя наступал наконец радостный для нас день. Всем уже надоело слоняться по опустелым комнатам, где вся мебель стояла в белых чехлах, чехлы были надеты и на зеркала, бронзовые часы и т. д., и все ждали вождеденной минуты отъезда. Случалось, на самые последки отец позовет Сашу или меня и даст переписывать в толстую большую книгу свои последние бесконечно длинные приказы бурмистру села Никольского, старосте деревни Басова и старосте деревни Каменки и наконец вручит мачехе серый лист бумаги, крупно исписанный, и громко прочтет ей:

«Княгине Елизавете Марковне Кропоткиной, урожденной Карандино, князя Алексея Петровича Кропоткина, полковника и кавалера.

Маршрутное расписание

Выступление в 8 часов утра мая такого-то дня.

1. Переезд в 15 верст до станции такой-то.

2. Переезд до города Подольска...»

и так далее вплоть до Никольского.

Май, впрочем, давно уже прошел, и вместо 8 часов утра «по расписанию» мы выезжаем в 3 часа дня; но это отец предвидел в маршрутном расписании, где имелось примеча-

ние:

«Если же паче чаяния выступление означенного мая 29-го дня в назначенный час не состоится, то предлагается Вашему Сиятельству поступать согласно Вашему разумению без утомления вверенных Вам лошадей и к вящему успеху».

Сколько радости приносило всем чтение этой бумаги. Все, включая прислугу, присаживались на минуту в зале на кончики стульев, затем мачеха с притворным благоговением крестилась, благословляла нас в дорогу, и мы прощались с отцом.

К крыльцу подъезжала большая карета, шестернею: четыре лошади в ряд с форейторм. Форейторм был хромоногий Филька, у него ноги были вывернуты вовнутрь (ему, еще когда он был мальчиком, лошадь разбила копытом нос, свернувши его на сторону; бедняга так и не рос, и, хотя ему было уже за 25 лет, он остался подростком, потому и шел за форейторма).

Чего только не набивалось в карету.

– Это твоей покойной матери я купил эту карету в Варшаве, варшавской работы, – говаривал мне отец.

Из нее выкидывали складную лесенку, и целых шесть человек, иногда семь, свободно помещались в карете: мачеха, Леночка, Полинька, Мария Марковна, Софья Марковна, иногда Елена Марковна и Аксинья.

Затем подъезжала коляска, и в нее залезал Пулэн, учитель Н.П. Смирнов и мы, дети, иногда Елена Марковна и кто-нибудь из горничных, все значилось точно в маршрутном расписании.

Отцовский тарантас часто оставался во дворе. Отец всегда находил причины, чтобы остаться еще несколько дней в Москве.

– Умоляю тебя, Алексис, не ходи в клуб, – шептала мачеха при прощании.

Наконец, ко всеобщему удовольствию, мы трогались.

Отец приезжал потом на почтовых. Или же он отправлялся из Москвы объезжать свой округ внутренней стражи и в Никольское попадал гораздо позже – большею частью в августе, ко дню своего рождения.

Сколько радости для нас было во время этого медленного, пятидневного переезда «на своих» из Москвы в Никольское!

Переезды делались маленькие, верст 20–25 утром, до жары, и столько же после полудня, двигались, стало быть, не спеша; где только начинался спуск или подъем, экипажи ехали шагом, а мы выскакивали и шли пешком, то забегая в лес собирать землянику, то просто идя по дорожке рядом с шоссе, встречая богомольцев и всякий люд, который плетется пешком из одной деревни в другую.

Останавливались мы на привал и на ночлег или в хорошеньких нарядных станциях под красный кирпич, расположенных по шоссе, или еще чаще на постоянных дворах в боль-

ших селах, вытянувшихся по шоссе. Железных дорог тогда не было, и бесконечные обозы шли, особенно осенью, по дороге из Варшавы в Москву. Конечно, сперва Тихон, мастер на все руки, посылался на разведки, и, только условившись заранее в цене овса и сена, въезжали в просторный топкий двор того или другого постоянного двора. Торгуются до тошноты.

– Ты уж, любезнейший, должен уважать княгиню, всякий год к тебе заезжаю, – уверяет мачеха содержателя постоянного двора.

– Известно, матушка, ваше сиятельство как не уважать, уверяет в свою очередь дворник.

Наконец экипажи въезжают во двор, и начинается разгрузка.

Повар Андрей покупает курицу и варит суп. Приносятся большие кринки цельного молока, на столе появляется самовар.

Мы тем временем бегаем по двору, где все так ново и интересно, свиньи, завязшие по уши в жидкой грязи, телята и утопающие в навозе куры. Хотелось бы поиграть с ребятишками, но нам не позволяют. Иногда мы бежим в соседнюю рощу собирать землянику, покауда кормят лошадей.

Вечером еще больше суеты. Из кареты и коляски выносятся подушки и налаживаются постели, для нас приносится свежее сено и постилается на пол, потом сено покрывается простынями и шальями, и весь кочующий табор скоро погру-

жается в сон.

И так целых пять дней.

В Малоярославце мы всегда ночуем, и Пулэн не преминет отправиться с нами на поле сражения, где в 1812 году русские старались остановить Наполеона во время его отступления из Москвы. Пулэн объяснял нам, как русские пытались задержать Наполеона и как великая армия опрокинула их и прорвалась сквозь наши линии. Он рассказывал все так подробно, как будто сам участвовал в битве. Здесь казаки пробовали обойти французов, но Даву или другой какой-нибудь маршал разбил их и преследовал вон до того холма направо. Вон там левое крыло наполеоновской армии опрокинуло русскую пехоту, а вот здесь сам Наполеон повел свою старую гвардию против центра кутузовской армии и покрыл себя и гвардию неувядаемой славой.

Раз мы поехали по старой Калужской дороге и остановились в Тарутине. Тут мосье Пулэн был не так красноречив, потому что здесь после кровавой битвы Наполеон, рассчитывавший пойти на юг, вынужден был вновь следовать дорогой на Смоленск через места, разоренные во время наступления на Москву. Но (так выходило по рассказам Пулэна) все это произошло единственно оттого, что Наполеон был обманут маршалами. Иначе он пошел бы на Киев и Одессу и его знамена развевались бы на берегу Черного моря.

Всего веселее было добраться до Калуги – не столько из-за пресловутого «калужского теста» с имбирем, которое го-

ворят, мерилось локтями, сколько из-за того, что тут кончалось путешествие по «большой дороге». Дорога эта, невероятной ширины, обсаженная с двух сторон двумя рядами берез, была действительно ужасна. Все время в гору и под гору, а под горою – сухая ли стоит погода или дождливая – неизменно стоит топь из жидкой красной глины. Есть, конечно, и мостик, но на мост никто не отважится ездить, и ямские тройки, и тем более наши тяжелые экипажи всегда, бывало, объезжают эти мосты и после предварительной рекогносцировки и вправо и влево, высадив всех пассажиров, неизбежно с криком и гиканьем въезжают в самую топь.

И несчастные лошади, иногда с подмогой добавочных пристяжных, как-то ухитряются вывезти тяжелые экипажи из топи, где, казалось бы, им век сидеть.

В ту пору громадные обозы чумаков с солью, бывало, плетутся по этой дороге, и любимое занятие нашей дворни было дразнить их: «Чи хохол мазепа ваксу съел». На что чумаки в холщовых рубашках и холщовых штанах, вымазанных дегтем, неизбежно отвечали ругательствами. За Калугою начинался тогда громадный сосновый бор. Целых семь верст приходилось ехать сыпучими песками, лошади и экипажи вязли в песке чуть ли не по ступицу, и эти семь верст до перевоза через Угру мы шли пешком. В моем детстве эти семь верст в сосновом бору, среди вековых сосен, соединены у меня с самыми счастливыми воспоминаниями.

Все идут врассыпную, а я любил уходить один (конечно,

когда Пулэн уже покинул нас) далеко вперед. Громадные вековые сосны надвигаются со всех сторон. Где-нибудь в ложбине вытекает ключ холодной воды, кто-то оставил для прохожих берестяной ковшик, прикрепленный к расщепленной палке. Напьешься холодной воды и идешь дальше, дальше – один, пока не выберешься из бора и экипажи не нагонят, выбравшись на лучшую дорогу. В этом лесу зародилась моя любовь к природе и смутное представление о бесконечной ее жизни.

За лесом перевоз через Угру на пароме и дорога в гору к необыкновенно обнищавшей деревне. «Удельные», – говорят нам в объяснение их невероятной бедноты. А за этой деревней и поворот с большой дороги на проселочную, или просто «проселок».

Лошадям, может быть, и тяжелее по проселку. Но все как-то веселеют, когда экипажи покатаются по узкой дороге, врезанной глубоко среди полей, так что рукой можно достать нагибающиеся колосья. Пристяжные отпрягаются, а если едут тройкой, то все время им приходится карабкаться, спотыкаясь по косогорам и жаться к оглоблям, а все-таки и лошади даже бегут дружнее, урывая пучки травы на обочинах дороги, точно и они чувствуют, что близок конец путешествия.

Вот наконец и Крамино, несчастнейшая деревушка из разваливающихся курных изб, а там, за нею, пойдут скоро уже знакомые места – село Высокое, имение князя Волконского, а далеко, верст за семь, с горы выглянет светло жел-

тая колокольня нашего Никольского. Вот наконец «последняя ива», «поповский луг», и мы проезжаем через громадную площадь, где бывает Никольская ярмарка, затем мимо длинного забора, сложенного из камня, пересыпанного землею, и наконец въезжаем на широкий двор Никольского.

Никольское как нельзя лучше соответствовало тихой жизни тогдашних помещиков. Там не было великолепия, которое встречалось в более богатых поместьях. Но художественный вкус сказался в планировке построек сада и вообще во всем. Кроме главного, недавно выстроенного отцом дома, на большом дворе было еще несколько флигелей. Они давали большую независимость жившим в них и в то же время не разрушали тесных сношений, устанавливаемых семейной жизнью. Большой фруктовый «верхний сад» тянулся до церкви, на южном скате, который вел к реке, был разбит сад для гулянья. Здесь цветочные клумбы чередовались с аллеями, обсаженными липами, сиренью и акациями. С балкона главного дома открывался великолепный вид на реку и на остатки земляной Серенской «крепости», в которой русские когда-то упорно отсиживались от татар. Далее расстилалось громадное желтеющее море колосьев, окаймленное на горизонте лесами.

В ранние дни детства мы, двое, с братом и мосье Пулэн занимали один из флигелей. После того как методы преподавания нашего гувернера смягчились вследствие вмешательства Лены, мы были с ним в самых лучших отношениях. От-

да никогда не было летом: он все время проводил в смотрах. Мачеха не обращала на нас много внимания, в особенности с тех пор, как у ней родилась дочь Полина. Таким образом, мы все время были с мосье Пулэном, нам было весело с ним: он купался с нами, увлекался грибами и охотился за дроздами и даже воробьями. Он всячески старался развивать в нас смелость и, когда мы боялись ходить в темноте, старался отучить нас от этого суеверного страха. Сначала он приучил нас ходить в темной комнате, а потом и по саду поздно вечером. Бывало, во время прогулки Пулэн положит свой неразлучный складной нож со штопором под скамейку в саду и посылает нас за ним, когда стемнеет. В деревне не было конца приятным впечатлениям леса: прогулки вдоль реки, карабканье на холмы старой крепости, где Пулэн объяснял нам, как русские защищали ее и как татары взяли ее, иногда – случайные встречи с волками.

Бывали приключения. Во время одного из них мосье Пулэн стал героем на наших глазах: он вытащил из реки тонувшего Александра. Иногда отправлялись на прогулку большой партией, всей семьей, с горничными, по грибы. Тогда пили чай в лесу, на пчельнике, где жил столетний пасечник с маленьким внуком. Или же мы отправлялись в одну из наших деревень, где был вырыт глубокий пруд, в котором лавливали тысячи золотых карасей. Часть улова шла помещику, остальное распределялось между крестьянами. Моя кормилица жила в этой деревне. Ее семья была из беднейших. Кро-

ме мужа в семье был маленький мальчик, уже помощник, да девочка, моя молочная сестра, ставшая впоследствии проповедницей и «богородицей» в раскольничьей секте, к которой принадлежала. Кормилица бывала страшно рада, когда я приходил повидать ее. Угостить меня она могла лишь сливками, яйцами, яблоками и медом. Но глубокое впечатление производили на меня ее любовь и ласки. Она накрывала стол белоснежной скатертью (чистота – религиозный культ у раскольников), подавала угощение в сверкающих деревянных тарелках, ласково говорила со мной, как с родным сыном. Я должен сказать то же самое о кормилицах двух старших братьев моих Николая и Александра. Они тоже принадлежали к семьям, принимавшим видное участие в двух раскольничьих толках в Никольском. Немногие знают, как много доброты таится в сердце русского крестьянина, несмотря на то что века сурового гнета, по-видимому, должны были бы озлобить его.

В ненастные дни у мосье Пулэна был большой запас историй для нас, в особенности про войну в Испании. Мы постоянно просили рассказать нам опять, как он был ранен в сражении, и каждый раз, как он доходил до того места, что почувствовал, как теплая кровь льется в сапог, мы бросались целовать его и давали ему всевозможные нежные имена.

Все, по-видимому, подготовляло нас к военному поприщу: пристрастие отца (единственная игрушка, которую он, как припоминаю, купил нам, – ружье и настоящая будка), во-

енные рассказы Пулэна, более того, даже библиотека, имевшаяся в нашем распоряжении. Эта библиотека принадлежала когда-то деду нашей матери генералу Репнинскому, видному военному деятелю XVIII века, и состояла из сочинений, большею частью французских, по истории войн, тактике и стратегии, прекрасно переплетенных в кожу и украшенных многочисленными гравюрами. Нашим величайшим удовольствием в ненастные дни было просматривать эти картинки, изображавшие различное оружие со времени евреев и планы всех битв со времен Александра Македонского. Увесистые томы были также великолепным строительным материалом для сооружения сильных крепостей, которые некоторое время выдерживали удары тарана и метательные снаряды архимедовой катапульты (она, впрочем, скоро была запрещена, так как камни неизбежно попадали в окна). Тем не менее ни я, ни Александр не стали военными. Литература шестидесятых годов вытравила все, чему нас учили в детстве.

Пулэн держался того же мнения о революциях, как и орлеанистский журнал «Illustration Francaise», старые номера которого он получал от приятеля француза, красильщика на Арбате, и все рисунки которого были нам отлично знакомы. Долгое время революция представлялась мне не иначе как смертью, скачущей на коне, с красным флагом в одной руке, с косой в другой, чтобы косить людей. Так было нарисовано в «Illustration» Теперь я думаю, однако, что нелюбовь Пулэна

ограничивалась лишь революцией 1848 года, так как один из его рассказов о революции 1789 года произвел на меня глубокое впечатление.

Княжеский титул употреблялся в нашем доме впопад и невпопад при всяком удобном случае. По всей вероятности, это раздражало Пулэна, потому что раз он принялся рассказывать нам то, что знал о великой революции. Я не могу теперь вспомнить всего, что он говорил, припоминаю только, что Пулэн рассказывал нам, как «граф Мирабо» и другие отказались от своих титулов и как Мирабо, чтобы выразить свое презрение к аристократическим претензиям, открыл мастерскую с вывеской «Портной Мирабо» (передаю историю как слышал ее от Пулэна). Долгое время после того я все думал, какое бы занятие я бы избрал, чтобы изобразить на вывеске «Таких-то дел мастер Кропоткин». Впоследствии мой русский учитель Н.П. Смирнов и общий демократический дух русской литературы понудили меня к тому же, и когда я начал писать повести что было на двенадцатом году, — я стал подписываться просто «П. Кропоткин». То же делал я и впоследствии, когда был и в военной службе, несмотря на замечания моих начальников.

В окрестностях Никольского было много имений помещиков.

Трудно найти в Центральной России более красивые места для жизни летом, чем берега реки Серены. Высокие известняковые холмы спускаются местами к реке глубокими

оврагами и долинами, а по ту сторону реки расстилаются заливные луга; темнеют уходящие вдаль тенистые леса, пересекать лощинами с быстро текущими речками. Там и сям виднеются помещичьи усадьбы, окруженные фруктовыми садами, а с вершины холмов можно насчитать сразу не менее семи церковных колоколен. Десятки деревень раскинуты среди ржаных полей.

Наша семья мало с кем из соседей водила знакомство. Только ближайšie к нам помещики иногда навещали нас. Самыми близкими нашими соседями были Толмачовы. Редкая неделя проходила без того, чтобы во дворе не раздавалось дребезжанье их старой большой кареты, запряженной парой шершавых лошадей. Как только карета останавливалась у парадного крыльца, из нее вылезала вся семья – отец, мать и дети.

Иван Сидорович Толмачов, глава семьи, был представительный мужчина высокого роста. Он постоянно вел разные тяжбы со своими крестьянами, писал жалобы в Петербург на местных представителей власти и был занят составлением всевозможных проектов для усиления власти помещиков над крестьянами.

По обыкновению, Толмачов, не успев еще войти в комнату, говорил громким голосом:

– Здравствуйте, дорогая княгиня, а, знаете, вчера я написал в Петербург министру. Я ему пишу вторично; и на первое свое письмо я не получил ответа. В Петербурге не заботят-

ся о наших нуждах, а что мы можем поделать с этими скотами крестьянами? Подумайте только, недавно один из них грозил мне, мне потомственному дворянину, пробывшему восемнадцать лет на государевой службе, и который столько лет пользуется расположением вашего сиятельства, – как вам это покажется?..

Другой брат Толмачова был генералом в отставке. Будучи полковником, он, подобно многим другим, нажил большое состояние, урезывая солдатские пайки и продавая сукно, выдававшееся на солдатские шинели. Кроме того, он заставлял солдат, знавших какое-нибудь ремесло, работать на себя. Генерал Толмачов был очень высокого мнения о себе. Он говорил всегда с большим апломбом и торжественностью.

Своим соседям помещикам, которые были беднее его или ниже чином, он подавал только два пальца – и с таким видом, словно он делал этим великую честь. Но когда он подходил к «ручке» нашей мачехи, то он весь изгибался и всегда повторял одну и ту же фразу:

– В Петербурге я всегда говорю, что для меня большое счастье иметь летом таких уважаемых и достопочтенных соседей, как вы, дорогая княгиня.

После этого он сейчас же просил разрешения закурить и, раскуривая папироску, говорил:

– Когда я был командиром полка, я пил всегда только русскую очищенную и курил простую махорку. Ничего нет полезнее для здоровья, как чистая махорка.

И это говорилось лишь для того, чтобы еще раз подчеркнуть свое уважение к дамам.

Толмачовы обыкновенно приезжали к нам с двумя своими дочерьми и мальчиком сыном. Старшая дочь была очень тихой девочкой. К несчастью своему, она воспитывалась в фешенебельном петербургском институте для «благородных девиц» и там получила такое ложное представление о жизни и людях, что когда после окончания института она познакомилась с действительной жизнью, то разочаровалась в людях и кончила тем, что постриглась в монахини.

Ее младшая сестра была ее полной противоположностью. Она была воплощением здоровья и веселья; о чем бы серьезном с ней ни заговаривали, она всегда раздражалась громким смехом, но не потому, что была истеричкой, но таков был ее веселый нрав. Иногда, сидя за обеденным столом, брат ее серьезно обращался к ней:

– Посмотри, Катя, на потолок, видишь, как там мухи ходят кверху ногами?

И этого было достаточно, чтобы Катя залилась таким безудержным смехом, что единственным для нее спасением было выйти из-за стола и на некоторое время убежать в сад. Когда она не смеялась, то ее жизнерадостность проявлялась в поцелуях: она беспрестанно целовала своих товарищей по игре, девочек и мальчиков без различия. Пулэн, заметив это, сделал нам строгий выговор и сказал, если мы будем позволять девочкам часто целовать себя, то у нас на губах выраст-

тут усы, а в нашем возрасте это позорно.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.